

Павел Брычков

Равновесие жизни

Вечером, издерганный подозрениями, он в первый раз пошел ее искать. Да и не искать – сразу направился к двухквартирному дому-общежитию, в котором жили командированные на лесоучасток лесорубы. Он шел по свеженатоптанной, еще мягкой апрельской тропинке и радовался, что лампочки на столбах давно все перегорели. Ему казалось, что из окон за ним следят. Он редко думал о людях плохо, но сейчас казалось, что все злорадствуют.

Перед общежитием почувствовал, как дыхание перехватило, будто перед атакой, и в нерешительности остановился у наклоненного внутрь двора штакетника, возле которого еще бугрились остатки снега, плотно прикрытого вытаявшими опилками, еловой ржавой корой и щепками. Морщась от стыда, он несколько раз прошел мимо ярко освещенных, не занавешенных окон и увидел, что жены здесь нет. В одной комнате сидели пятеро картежников, вторая была пуста.

Скрипнув зубами, он почти побежал к окраине поселка, где жила известная сводня Физка Лушников. Ему повезло. Физка выливали помойное ведро, когда он оказался перед ее дверью. Иначе бы не открыла.

– Тебе че, Степан Петрович? – приторно улыбнулась она золотыми фиксами.

Он молча отпихнул ее, ворвался в дом, мельком глянул на остатки пиршества на столе, резко раздвинул желтые бархатные гардины, шагнул в спальню и окаменел.

Вдруг показалось, что все это происходит во сне. Ему и правда иногда снилось такое: будто безликий мужик жадно ласкает его жену, а он ничего не может сделать. Он будил Глашу стоном, который выдавливала накатывавшаяся боль. «Ты чего?» – спрашивала жена, и он рассказывал ей. «Дурачок ты, дурачок», – целовала она его мягкими горячими губами, прижимала голову к своему плечу, и он засыпал, как успокоенный ребенок, хотя был старше ее на пятнадцать лет...

Степан резко раздвинул бархатные гардины и окаменел. На кровати в обнимку с его женой сидел Федька Копылов, самый молодой из командированных. Увидев Степана, он в испуге отскочил в угол и приподнял за спинку стул. Но Степан будто не заметил его. Все внимание было на жене. Какой-то задней мыслью он отметил, что страха в глазах у нее нет, скорее, наоборот, вызов. Она спокойно скрутила волосы в узел на затылке, поправила рубашку и встала. И только тут он заметил, что она пьяна. Дрожа от нетерпения, дал ей одеться, намертво сжал ее руку и потянул, будто школьницу, по улице.

Он приволок ее к себе в будку-дежурку возле электростанции, толкнул на нары, застеленные старым ватным одеялом, и навис над ней. Тело не переставало бить дрожь. Жена поджала ноги и дерзко смотрела на него. И то, что он не увидел в ее глазах ни капли раскаяния и страха, взорвало его, и он впервые в жизни сильно ударил ее куда-то под ухо. Жена мешком упала на нары. Пока она не шевелилась, Степан будто в недоумении тер ладонью кулак, а когда жена приподняла голову, вдруг обхватил ладонями ее лицо и, всхлипывая, забормотал:

– Глаша, что ты со мной делаешь, Глаша! Прости, прости!..

– Бей! – выдохнула она, отбрасывая его руки. – Молодость выпил, остальное не твое! Да ты и не можешь уже ничего, ха-ха-ха! – пронзил его ее дикий хохот.

Степан отшатнулся и вышел из будки, вывалился будто пьяный. Откинувшись спиной на фанерную стену будки, долго стоял в изнеможении. В груди будто закручивалась пружина и так сводила дыхание, что мерк свет, и оглушительное тарыхтение дизеля электростанции в двадцати шагах доходило неестественно издалека. Справа по верхушкам деревьев качнулся луч прожектора и тут же отвернул, высвечивая насыпь узкоколейки. Шел мотовоз с платформами леса.

А боль в груди ширилась, требовала выхода. Степан торопливо вошел в помещение станции.

Чтобы электричество было в поселке круглые сутки, здесь по очереди работали два дизеля. Он проверил масло в неработающем дизеле, накрутил ремень на шкив пускового двигателя и резко дернул. Запустив дизель, остановил второй, подрегулировал реостатом напряжение и, не выпуская сыромятного ремня, подошел к выходной двери. Да, вот здесь будет ладно... Шпиль в стене в самый раз... Спрыгнул с порожка, и все... Степан почти радовался, что нашел такой простой выход. И только когда петля коснулась шеи, он вздрогнул, откинул ее и в бессилии опустился на черную от мазута ступеньку. Гулко стучало в ушах. Как он забыл о них, дети-то за что должны страдать!..

Дети у них вышли ладные. У Гальки с Димкой уже свои семьи, а вот Петьку с Сашкой еще поднять надо... Он вспомнил, что Петька, учившийся в седьмом классе в райцентре, должен сегодня приехать на выходные мотовозом, подумал, как узнал бы об этом девятилетний Сашка, и судорожно закусил губу.

Медленно вернулся в будку и с удивлением увидел, что жена не ушла. Не снимая сапог, она спала. Степан сел на стул возле железной печурки и вдруг остро почувствовал, как он устал жить. Казалось, из него вынули душу, и он увидел свою телесную оболочку со стороны. Видел себя, как в зеркале: волосы, тронутые сединой, глубокие борозды по впалым щекам, синие глаза, в которых всегда была жизнь и которые сейчас, верно, заматовели... Может, уехать надо было еще три года назад, когда в пятьдесят пять ушел на пенсию, уехать из этой глухомани, где связь с миром – узкоколейка: кругом леса да болота. Может, и вышло бы все по-другому. Он смотрел на жену и не хотел верить, что все это стряслось с ним. Ведь было же все не так, было...

После войны Степан ходил как пьяный. Душа ликовала – жив, жив! Ему всего двадцатый год, и теперь никогда не надо держать в себе мысль, что тебя могут убить. Не надо мучительно ждать атаки, стоя по колено в ледяной окопной воде, не надо вгрызаться под пулями в мерзлую землю... Да мало ли чего еще не надо, о чем и вспоминать не хочется. Например, о том, как прежде чем выскочить из окопа, он, комсомолец, беззвучно шептал: «Оставь меня жить, оставь!..»

Даже смерть отца вскоре после возвращения Степана в деревню не сбила радостного желания жить. Он был влюбчив, и в него влюблялись часто, так часто, что если б попытался вспомнить всех, кто у него был, то, наверно, не смог бы.

В сорок восьмом году подался в организованный рядом с их деревней лесопункт. Сразу поставили бригадиром, а через два года начальником соседнего лесопункта, хотя и было у него всего шесть классов.

Работа ему нравилась. Целыми днями мотался он по делянкам то верхом, то в легкой кошевке; грелся у костров, что жгли бабы-сучкорубы, смеялся с ними, задорно сверкая глазами. Радовался, когда коней на трелевке заменили постепенно трактора, а на валке появились первые электропилы.

Он все еще был молод. По вечерам залетал домой и, обжигаясь, глотал суп, чтобы бежать на гулянку. Мать выговаривала ему:

– Степа, ну сколь можно! Ведь людям в глаза стыдно глядеть, ведь ты же начальник...

– Я тут ни при чем, они сами... А начальство они еще крепче любят.

– Да как сами, врешь, поди. Женился бы скорей, а?

– Мне их всех жалко, мама... Взять хотя бы Надьку, много она в жизни видела?

– Осподи, и на Надьку позарился...

– Ниче, меня на всех хватит!

А с Надькой и правда, как кобель. Он спускался в глубокий лог, прикидывая, откуда начать вырубку, чтобы легче шла трелевка Надька, некрасивая, угловатая двадцатисемилетняя девка, шла следом и тянула: «Степ, ну Степ... От другого я не хочу, надо на тебя похожего, синеглазого и умного...» – «Это я-то умный? Дура! Отстань,

некогда...» Но Надька не отставала, бесстыдно упрямая в своей жажде материнства. Степан сел на упавшую березу и закурил. Надька пристроилась рядом и тронула его за рукав ватника. Кругом было сыро, ватник мочить не хотелось, и он, не глядя на нее, сказал: «Ладно, о березу обопрись...»

И все же перед смертью своей мать уговорила его жениться. Сейчас, через четверть века, память не сохранила о первой жене ничего хорошего. Каждую зиму Дарья меняла плюшевые жакетки, любила веселые пьяные вечеринки, в постели была раздражающе неподвижна и не хотела детей. Оттого он никогда не испытывал угрызений совести, оттого так легко и бросил ее, все оставив, и бежал с Глашей за Урал. Именно бежал. Так быстро все у них с Глашей обернулось, что он не хотел омрачать ее восторженности ожиданием развода и возможных неприятных сцен. Да, было, было... Ему тридцать два, ей семнадцать. Тогда она устроилась работать буфетчицей в столовую. Забегая за папиросами, Степан шутил: «Глашка, уходи, пока не поздно, проворуешься, посадят. Такая красота пропадет!» Она краснела и, улыбаясь, говорила: «Да мы, Степан Петрович, не жадные...» Да, она была не жадная до всего, кроме любви. Степан понял, что не сможет без нее, уже в тот первый вечер.

В тот вечер, поругавшись с Дарьей, он ушел на речку и стоял на узеньком качающемся мостике-временке над перекатом. Слева белели клетки из свежошкуранных бревен вновь строящегося моста. Старый снесло в половодье. С нависших над водой черемух сыпались белые чешуйки цвета. Мостик закачался, и он увидел Глашу. Она жила в домике возле пихтоварки на другом от поселка берегу. Он остановил ее тогда, и с этого все началось. Позднее она призналась, что уже год была влюблена в него.

В Зауралье они сменили несколько мест. Везде он работал начальником лесоучастка. Лишь со временем, когда появились с дипломами, пришлось уйти в мастера, а потом согласиться и на эту глухомань. Жена работала обычно в столовой. Всегда на виду. Но никогда он не ревновал ее. И только лет пять назад, услышав случайно, как она перешучивалась с молодыми трактористами, предупредил: «Смотри, если что – мозги вышибу! Врозь нам не жить». – «Дурак!» – сердито крикнула она и побледнела.

Неужели все из-за этого?.. В последнее время все чаще схватывало спину. И он любил, когда она втирала ему мази мягкими сильными ладонями, будто выжимая боль. Но иногда, пронзенный болью, он лежал рядом с ней, не в силах доказать ей свою любовь. И дабы заглушить досаду и стыд, наливал себе водки. Жена, обняв его, просила: «Дай и мне...»

...Глаша пробудилась и села. Глаза ее были трезвы и настороженны. Степан отметил, что даже с похмелья она выглядит молодо. Ведь ей всего сорок три.

– Че ж ты меня не убил? – с вызовом спросила она.

– Глаша, что ты делаешь?!

Жена молчала.

– Глаша, не доводи до греха, подумай о детях. Давай уедем отсюда!

– Поезжай... Может, нам врозь лучше.

– Врозь нам не жить! Забыла, что говорил? Детей сиротами оставить хочешь!

– Ладно, идем домой.

Они шли молча. Глаша заметила красные веки и темные круги под глазами мужа, и ей вдруг стало жалко и его, и себя. То, что случилось вчера, было впервые, хотя в поселке о них с Федькой болтали давно. Может быть, болтали потому, что Федька оказывал ей всяческое внимание, и всегда выходило так, что он помогал ей перевезти от мотовоза на своем тракторе продукты к будке-столовой или отвозил готовый обед на дальнюю делянку. Ей всегда казалось, что в жизни для нее должно быть больше, чем было. И, может быть, раскудря Федька и есть то большее, что было положено. Она понимала, что это никакая не любовь. Любовь вся была со Степаном. Но она не могла сказать себе, что будет завтра.

Этот звук появился раньше, чем следовало. Степан хорошо помнил, что сейчас его быть не должно. Ведь он только подходил к сгоревшему танку. «Тридцатьчетверка» стояла прямо на обочине дороги, сразу за домом, единственным, чудом уцелевшим в деревне, за которую вчера был сильный бой. Да, он только подходил к нему из любопытства восемнадцатилетнего мальчишки, который еще не бывал под огнем, хотя и должен был участвовать во вчерашнем бою, но их оставили в резерве. А звук стал еще явственней настолько, что заныли зубы... Он торопился, потому что комвзвода Сорокин, объявивший привал возле того самого, уцелевшего, дома, мог в любую минуту окликнуть его и послать куда-нибудь как самого молодого...

Точно, звука быть не должно... Ведь он только еще оглядывает черный прокопченный бок и ленту разбитой гусеницы со стороны дороги. Сзади, где был мотор, горело сильнее, и металл весь в серой лишайчатой окалине. Танк стоит, слегка наклонившись, и слева от него грязно-желтый снег поблескивал на солнце ноздреватым оплавом. Зубы заныли сильнее от того же звука. Но и сейчас его быть не должно, хотя Степан внутри танка.

Глаза не сразу привыкают к полумраку. В нос ударяет едкий запах жженого. Выгорело все дотла. Ноги наткнулись на слившиеся куски металла, и он понял, что это все, что осталось от снарядных гильз. Он отпрянул в испуге, когда увидел его. Угольное лицо сгоревшего водителя лоснилось, будто потное, в свете из смотровой щели. Степан зачем-то тронул его и отдернул руку. Появился этот звук: легкий шелест осыпающегося праха. Танкист растаял на глазах – сначала голова, потом туловище... И только черные пальцы продолжали сжимать рычаги. Сейчас шелест, от которого ноют зубы, должен исчезнуть. Но он стал еще явственней. Степан в ужасе рванулся к люку и... проснулся.

Сон этот виделся ему часто. Непонятно, почему во сне приходило именно это. Ведь потом, за два года войны, насмотрелся всякого.

Степан встал. В соседней комнате за перегородкой сыновья смотрели телевизор, на экране которого то и дело появлялась шелестящая рябь. Этот шелест и был похож на тот звук. Давно бы надо подправить поврежденную выстрелом антенну. Но все руки не доходили, а теперь и подавно.

Месяц назад он вышел во двор и, возвращаясь из уборной, увидел на антенне косача. Не удержался, вынес ружье и сбил глупую птицу. А вчера сменщик Русев взял двух прямо на шпалах в трех километрах от поселка. Степан решил сходить вечером на свое любимое токовище на дальней вырубке, где косачей можно было брать без всяких шалашей.

Все последние дни, а с того вечера прошло больше недели, видя отрешенность жены, Степан чувствовал, что эта отрешенность и молчаливость должны к чему-то привести, и тайне надеялся на лучшее. Тем более и срок у командированных подходил к концу.

Степан собрался на охоту. Наказав сыновьям пожарить картошку и сходить к соседке за молоком (они с Глашей никогда коровы не держали), направился к лесу.

Когда он подходил к деревянной платформе, подкатил мотовоз с двумя вагончиками, из которых стали выходить рабочие. Он шел им навстречу, отвечая на приветствия, по широкому дощатому внаклон настилу, оребренному когда-то прямоугольными, а теперь стертыми до плавных выбоин, брусками.

– На промысел, Петрович? – поприветствовав, спросил его мастер Кузьмин, с которым Степан проработал несколько лет.

Степан слегка улыбнулся, кивнул и поднялся на насыпь. Обходя, двинулся к заднему вагону и услышал за спиной едкий хохоток:

– Мужик косачей промышляет, а баба ползунику с Федькой...

Степан остановился. Голос был знакомый. Но Степану было все равно, кто сказал. Он лихорадочно выискивал глазами оранжевый платок жены. И не нашел. Федьки тоже не

было видно. Остались в будке!.. Ярость перехватила горло, Степан скрипнул зубами и побежал по шпалам. «Пристрелю суку, пристрелю... Предупреждал ведь...»

Он свернул с насыпи, рывком поднял голенища болотных сапог, продрался через молодой сосняк и побежал, спотыкаясь, по старой вырубке. Напрямик через болото до рабочей делянки было всего час ходу. Степан бежал, не разбирая дороги, то и дело попадая в лужи и разбрызгивая отстоявшуюся ледяную воду. Иногда брызги летели в лицо, и он чувствовал настой прели и хвои. Из старых, наполненных водой котлованчиков, вырытых когда-то бульдозерами, то и дело вспархивали утки, но Степан бежал и бежал, не замечая их. «Убью гадину, убью!» – шептал он. На ходу зарядил ружье и бежал, держа его в правой руке, будто преследуя кого-то.

Началась заболоть. Он прыгал по седым высоким кочкам, то и дело срываясь в воду, под которой был еще лед. Скоро вода стала почти сплошной, лишь изредка попадались островки с чахлыми елями, похожими на скелеты рыб. Летом тут было непроходимое болото. Сейчас воды было по колено, и Степан шел, раздвигая ее, и чувствовал, как прогибается под ногами лед. Он шел от островка к островку, и ему оставалось метров двадцать до конца болота, где виднелась лесополоса взрослых сосен, как вдруг лед под ногами осел, и он оказался по пояс в воде рядом с последним островком. Рванулся было и почувствовал тут же, что голенища сапог так плотно сжаты, что вода сверху едва проникает к икрам ног. Молниеносно осознав опасность, он, распластавшись, потянулся к островку и, держась за ствол, накинуд ремень ружья на тонкий пенек. Осторожно подтянулся и увидел, как шевельнулись вместе с землей корни пня. «Подохну тут, она радоваться будет, стерва...» – колыхнулась в нем ненависть, и он, рискуя, рванулся изо всех сил. Пенок почти вывернулся корнями, но Степан освободил ноги из липких объятий и на карачках выполз на островок.

Тяжело дыша, оглянувшись на черную взбаламученную воду, на которой плавали кусочки черного льда. А из-за сосен поднималась уже чистая полная луна. Озноб пробежал по телу, и только сейчас он почувствовал, что если еще минута без движения, то промерзнет до костей. «Из-за нее все, из-за нее!..» – с ожесточением подумал он и хотел рвануться, в беге согреваясь, к делянке, до которой оставалось минут десять ходу. Но вдруг простая ясная мысль остановила его. Да кто он такой, чтобы отнимать жизнь у нее! Кто дал ему на это право? А дети?.. Ведь жизнь вдвоем – это когда всего поровну. Чего ж он хочет, столь грешивший до встречи с ней! Ведь жизнь одна. А грех, в начале или в конце ее, какая разница... За что же ее убивать. Ведь они теперь квиты. Равновесие восстановлено...

Он выбрался в лес, достал из нагрудного кармана спички в полиэтиленовом пакете, развел большой костер, настелил рядом лапника и стал сушить одежду.

Пришедшие мысли остановили его, но не убрали боли. Разумом он прощал жену, но в груди будто завяз комок колючей проволоки и стал разбухать. Он смотрел не мигая в костер, ворочавшийся у его ног ворохом желтых кленовых листьев, и не находил сил справиться с болью и навалившимся чувством какой-то неправды в мире. Он нашел вдруг изъян в своих недавних мыслях. Ведь его грех был добро, радость другим, а жены – зло. И теперь печать этого зла нести ему всю оставшуюся жизнь. Всю жизнь! За что? За что! Кто виноват, кто позволил такую несправедливость?..

Степан вскочил, схватил ружье и выстрелил из обоих стволов в небо. Перезарядил, и опять, и опять...

Когда заряды кончились, он с остервенением хватил прикладом о ствол сосны, отшвырнул остатки ружья в сторону и ткнулся лицом в сосновый лапник, кусая ладонь.

1985